

ЖАН ПОЛЬ САРТР

СЛОВА



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44
С20

Серия «Эксклюзивная классика»

Jean-Paul Sartre

LES MOTS

Перевод с французского Ю. Яхниной, Л. Зониной

Серийное оформление А. Фереа, Е. Фереа

Компьютерный дизайн А. Кирсановой

Печатается с разрешения издательства
Editions Gallimard.

Сартр, Жан Поль.

С20 Слова : [повесть] / Жан Поль Сартр ; [пер. с фр. Ю. Яхниной, Л. Зониной]. — Москва : Издательство АСТ, 2022. — 224 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-095693-7

«Слова» (1964) — автобиографичная повесть Жана Поля Сартра. Автор откровенно рассказывает о своем детстве, родных и друзьях, о первом знакомстве с книгами и постепенном понимании своего призвания стать писателем: «Я обрел свою религию: книга стала казаться мне важнее всего на свете».

Франция второй четверти XX века, модные тогда писатели и книги — обо всем этом Сартр пишет остроумно и язвительно, но и к себе он относится не менее критично: раскрывает читателю собственные детские фантазии и заблуждения, отразившиеся уже на его взрослой жизни.

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

© Editions Gallimard, Paris, 1964

© Перевод. Ю. Яхнина, наследники, 2016

© Перевод. Л. Зонина, наследники, 2016

© Издание на русском языке AST Publishers, 2022

ISBN 978-5-17-095693-7

ЧИТАТЬ

В конце сороковых годов прошлого века многодетный школьный учитель-эльзасец с горя пошел в бакалейщики. Но расстрига-ментор мечтал о реванше: он пожертвовал правом пестовать умы — пусть один из его сыновей пестует души. В семье будет пастырь. Станет им Шарль. Однако Шарль предпочел удрать из дому, пустившись вдогонку за цирковой наездницей. Отец приказал повернуть портрет сына лицом к стене и запретил произносить его имя. Кто следующий? Огюст поспешил заковать себя по примеру отца, он стал коммерсантом и преуспел. У младшего, Луи, выраженных способностей не было. Отец сам занялся судьбой этого невозмутимого парня и, недолго думая, сделал его пастором. Впоследствии Луи простер сыновнюю покорность до того, что в свой черед произвел на свет пастыря — Альберта Швейцера, жизненный путь которого всем известен. Меж тем Шарль так и не догнал свою наездницу. Символический жест отца наложил на него неизгладимую печать: у него на всю жизнь сохранилась склонность к возвышенному и он лез из кожи вон,

раздувая мелкие происшествия до размера великих событий. Иначе говоря, он вовсе не стремился заглушить в себе семейное призвание — он хотел лишь посвятить себя духовной деятельности более либерального толка, принять сан, совместимый с наездниками. Университетское поприще оказалось в самый раз. Шарль решил стать преподавателем немецкого языка. Он защитил диссертацию о Гансе Саксе, сделался приверженцем «прямого метода», объявив себя впоследствии его основоположником, выпустил в содружестве с господином Симонно солидный учебник «*Deutsches Lesebuch*», быстро пошел в гору: Макон — Лион — Париж. В Париже на выпускном вечере он произнес речь, удостоившуюся отдельного издания: «Господин министр! Дамы и господа! Дорогие дети! Вы никогда не угадаете, о чем я буду говорить с вами сегодня! О музыке!» Он набил руку в стишках на случай. В кругу семьи любил повторять: «Луи у нас благочестивый, Огюст самый богатый, я самый умный». Братья хохотали, невестки кусали губы.

В Маконе Шарль Швейцер женился на Луизе Гийемен, дочери адвоката-католика. Свадебное путешествие она вспоминала с отвращением. Похитив невесту в разгар обеда, жених втолкнул ее в поезд. В семьдесят лет она все еще не могла забыть, как в каком-то привокзальном буфете им подали салат из лука-порей: «Шарль съел все луковицы, а зелень оставил мне». Две недели они прожили в Эльзасе и все это время не вылезали из-за стола. Братья изощрялись в ватерклозетных анекдотах на местном диалекте; по временам пастор

обращался к Луизе и из христианского милосердия переводил их.

Луиза не преминула раздобыть по знакомству медицинское свидетельство, которое избавляло ее от исполнения супружеских обязанностей и давало право обзавестись отдельной спальней. Она жаловалась на головные боли, чуть что укладывалась в постель, возненавидела шум, страсти, восторженность — все грубое бытие Швейцеров, земное и театральное. Эта живая, но холодная насмешница мыслила здраво и предосудительно, потому что муж мыслил благонамеренно и несуразно, а так как он был лжив и легковверен, она все подвергала сомнению: «Говорят, что земля вертится, — откуда им это знать?» Окруженная добродетельными комедиантами, она возненавидела комедиантство и добродетель. Утонченная реалистка, затесавшаяся в семью спиритуалистов-мужланов, стала вольтерьянкой, не читав Вольтера, из духа противоречия. Маленькая, пухленькая, циничная и игривая, она ударилась в безоговорочное отрицание. Пожалтьем плеч, иронической улыбкой ради собственной утехы — не для окружающих — она сводила на нет все напыщенные тирады. Ее снедали гордыня всеотрицания и эгоизм неприятия. Она ни с кем не поддерживала отношений — слишком самолюбивая, чтобы домогаться первого места, слишком тщеславная, чтобы довольствоваться вторым. «Умейте поставить себя так, чтобы вас искали», — твердила она. Ее искали усердно, потом все меньше и меньше и, наконец, не видя ее, забыли. Теперь она не покидала своего кресла и кровати.

Плотоугодники и пуритане — сочетание добродетелей куда более распространенное, чем это принято считать, — Швейцеры любили крепкое словцо, которое, принижая плоть, как это приличествует христианскому благочестию, в то же время свидетельствует о широкой терпимости к ее естественным проявлениям; Луиза предпочитала двусмысленности. Она зачитывалась фривольными романами, ценя в них не столько фабулу, сколько прозрачные одежды, в которые ее рядили. «Весьма рискованно и мило», — с намеком замечала она. «Здесь скользко — будьте осторожны!» Эта женщина-ледышка едва не лопнула со смеху, читая «Пламенную деву» Адольфа Бело. Она любила рассказывать анекдоты о брачной ночи, всегда с плохим концом: то муж в грубом нетерпении ломал жене шею о спинку кровати, то потерявшую рассудок новобрачную находили на шкафу, куда она пряталась от своего благоверного.

Луиза жила в полумраке; Шарль входил в ее комнату, распахивал ставни, зажигал все лампы разом, она стонала, прикрывая рукой глаза: «Шарль, я ослепну!» Впрочем, ее протест не выходил за рамки парламентской оппозиции. Шарль пугал Луизу, вызывая нестерпимое раздражение, временами, наоборот, даже неприязнь, она хотела одного — чтобы он ее не трогал. Но как только он начинал кричать, она сдавала все позиции. Он нахрапом сделал ей четырех детей: дочь, умершую в младенчестве, двух сыновей и еще одну дочь. То ли по равнодушию, то ли в знак лояльности он разрешил воспитать детей в католической вере.

Безбожница Луиза из ненависти к протестантизму внушила детям набожность. Оба сына взяли сторону матери. Она их потихоньку спровадила подальше от необузданного отца. Шарль этого даже не заметил. Старший, Жорж, поступил в Политехнический, младший, Эмиль, стал учителем немецкого. Он для меня загадка. Оставшись холостяком, он во всем остальном подражал отцу, хотя и не любил его. В конце концов отец с сыном поссорились; время от времени происходили торжественные примирения. Эмиль напускал на себя таинственность. Он обожал мать и до конца дней имел привычку без всякого предупреждения наносить ей украдкой визиты: осыпал ее поцелуями и ласками, затем начинал разговор об отце, сперва иронически, потом с яростью, а на прощанье хлопал дверью. Очевидно, Луиза любила его, но побаивалась. Эти крутые упрямы — отец и сын — утомляли ее, и она предпочитала им Жоржа, который всегда отсутствовал. Эмиль умер в 1927 году, рехнувшись от одиночества; у него под подушкой обнаружили револьвер, а в чемоданах две сотни дырявых носков и двадцать пар стоптанных ботинок.

Анн-Мари, младшая дочь, все свое детство просидела на стуле. Ее научили скучать, держаться прямо и шить. У Анн-Мари были способности — из приличия их оставили втуне; она была хороша собой — от нее постарались это скрыть. Скромные и гордые буржуа Швейцеры считали, что красота им не по карману и не к лицу. Они уступали ее графиням и шлюхам. Луизу снедала бесплоднейшая

спесь: из боязни попасть впросак она не признавала ни за детьми, ни за мужем, ни за собой самых очевидных достоинств. Шарль не понимал, кто красив, кто нет, — он путал красоту со здоровьем. С тех пор как его жена хворала, он искал утешения у дюжих идеалисток, усатых и цветущих — кровь с молоком. Пятьдесят лет спустя, рассматривая семейный альбом, Анн-Мари обнаружила, что была красавицей.

Примерно в то самое время, когда Шарль Швейцер познакомился с Луизой Гийемен, некий сельский врач взял в жены дочь богатого землевладельца из Перигора и обосновался с ней в Тивье на унылой главной улице, прямо против аптеки. Наутро после свадьбы обнаружилось, что у тестя нет ни гроша. Вzbешенный доктор Сартр перестал разговаривать с женой и в течение сорока лет не сказал ей ни слова. За столом он изъяснялся жестами, и она в конце концов стала звать его «мой постоялец». Тем не менее он делил с ней ложе и время от времени, все так же не открывая рта, делал ей очередного ребенка: она родила ему двух сыновей и дочь. Этих детей безмолвия нарекли Жан-Батист, Жозеф и Элен. Элен немолодой уже девицей вышла замуж за кавалерийского офицера, который впоследствии сошел с ума. Жозеф, отслужив свой срок в зуавах, поспешил уйти в отставку и вернуться в отчий дом. Профессии у него не было. Очутившись между немым отцом и крикливой матерью, он стал заикой и до конца дней враждовал со словами. Жан-Батист поступил в мореходное училище, чтобы повидать море. В 1904 году

в Шербуре, морским офицером, уже подточенным тропической лихорадкой, он познакомился с Анн-Мари Швейцер, окрутил эту заброшенную долговязую девушку, женился на ней, в два счета наградил ребенком — мной — и сделал попытку умыть руки, отойдя в иной мир.

Но умереть не так-то просто: тропическая малярия развивалась не спеша — временами наступало улучшение. Анн-Мари самоотверженно ухаживала за мужем, не позволяя себе, однако, такого неприличия, как любовь. Луиза настроила дочь против супружества: кровавый обряд открывал вереницу ежедневных жертв вперебивку с еженощной пошлостью. По примеру собственной матери, моя мать предпочла долг утехам. Она почти не знала отца ни до, ни после свадьбы и, должно быть, порой с недоумением спрашивала себя, с чего этому чужаку взбрело на ум испустить дух у нее на руках. Больного перевезли на мызу неподалеку от Тивье, отец ежедневно навещался к сыну на двуколке. Бдения и заботы подорвали силы Анн-Мари, у нее пропало молоко, меня отдали кормилице, жившей по соседству, и я тоже приложил все старания, чтобы отправиться на тот свет от энтерита, а может, просто в отместку. В двадцать лет моя мать, неопытная и одинокая, разрывалась между двумя умирающими, совершенно ей незнакомыми. Ее брак по рассудку обернулся болезнью и трауром.

Меж тем обстоятельства играли мне на руку: в ту пору матери сами кормили новорожденных и кормили долго. Не подоспей, на мое счастье, эта

двойная агония, мне не миновать бы опасностей, которым подвергается ребенок, поздно отнятый от груди. Но я был болен, и когда меня, девятимесячного, пришлось отлучить от груди, в лихорадке и бесчувствии взмах ножниц, которыми разрезают последнюю нить, связывающую мать с младенцем, прошел для меня не замеченным. Я окунулся в мир, населенный примитивными галлюцинациями и первородными фетишами. После смерти отца мы с Анн-Мари оба разом очнулись от наваждения, я выздоровел. Но вышла неувязка: Анн-Мари обрела любимого сына, которого, по сути дела, никогда не забывала, я пришел в себя на коленях у незнакомки.

Оказавшись без средств, без образования, Анн-Мари решила вернуться под отчий кров. Но Швейцеры были уязвлены неподобающей смертью моего отца: уж очень она походила на развод. А так как моя мать не смогла ни предвидеть ее, ни предотвратить, ответственность возложили на нее: она легкомысленно выскочила замуж за человека, нарушившего правила благопристойности. Долговязую Ариадну, возвратившуюся в Медон с младенцем на руках, приняли как нельзя лучше: мой дед, подавший было в отставку, вернулся на службу, ни словом не попрекнув дочь; даже бабка не выказала злорадства. Но, подавленная благодарностью, Анн-Мари в безупречном обхождении угадывала хулу. Что и говорить, родня предпочитает вдову матери-одиночке — но только как меньшее из двух зол. Стремясь заслужить отпущение грехов, Анн-Мари не щадила своих сил.

Она взвалила на свои плечи хозяйство — сначала в Медоне, потом в Париже, была одновременно гувернанткой, сиделкой, домоправительницей, компаньонкой и служанкой, но ей так и не удалось смягчить затаенную досаду матери. Луизе надоедало начинать день составлением меню и кончать его проверкой счетов, но ей было не по нутру, когда обходились без нее, — она не прочь была избавиться от обязанностей, но не желала терять прерогативы. Стареющая и циничная, Луиза сохранила одну-единственную иллюзию: она считала себя незаменимой. Иллюзия рассеялась — Луиза преисполнилась ревности к дочери. Бедняжка Анн-Мари! Сиди она сложа руки, ее бы попрекали, что она обуза, но она не покладала рук, и ее заподозрили в том, что она хочет стать хозяйкой в доме. Чтобы обойти первый риф, ей пришлось призвать на помощь все свое мужество, чтобы обойти второй, — все свое смирение. Не прошло и года, как молодая вдова вновь оказалась на правах несовершеннолетней — девицы с пятном на репутации. Никто не лишал ее карманных денег — ей просто забывали их дать; она донашивала платья чуть ли не до дыр, а деду не приходило в голову купить ей новое. Даже в гости ее неохотно отпускали одну. Когда подруги, большей частью замужние дамы, приглашали ее, им приходилось загодя испрашивать соизволения деда, обещая при этом, что его дочь доставят домой не позже десяти. После ужина вызывали экипаж, хозяин дома вставал из-за стола, чтобы проводить Анн-Мари. А тем временем дед в ночной рубашке мерил шага-

ми спальню, не выпуская из рук часов. На десятом ударе разразилась гроза. Приглашения поступали все реже, да и мать потеряла охоту к развлечениям, которые доставались такой дорогой ценой.

Смерть Жан-Батиста сыграла величайшую роль в моей жизни: она вторично поработила мою мать, а мне предоставила свободу.

Хороших отцов не бывает — таков закон; мужчины тут ни при чем — прогнили узы отцовства. Сделать ребенка — к вашим услугам; иметь детей — за какие грехи? Останься мой отец в живых, он повис бы на мне всей своей тяжестью и раздавил бы меня. По счастью, я лишился его в младенчестве. В толпе Эннеев, несущих на плечах своих Анхизов, я странствую в одиночку и ненавижу производителей, всю жизнь сидящих на шее родных детей. Где-то в прошлом я оставил молодого покойника, который не успел стать моим отцом и мог бы теперь быть моим сыном. Повезло мне или нет? Не знаю. Но я обеими руками готов подписаться под заключением известного психоаналитика: мне неведом комплекс «сверх-я».

Умереть — это еще не все: важно умереть вовремя. Скончайся мой отец позднее, у меня появилось бы чувство вины. Сирота, сознающий свое сиротство, склонен себя корить: опечаленные лицезрением его персоны родители удалились в свое небесное жилище. Я блаженствовал: моя печальная участь внушала уважение, придавала мне вес; сиротство я причислял к своим добродетелям. Мой отец любезно отошел в вечность по собственной

вине — бабушка постоянно твердила, что он уклонился от исполнения долга. Дед, по праву гордившийся живучестью Швейцеров, не признавал смерти в тридцатилетнем возрасте: в свете столь подозрительной кончины он стал сомневаться, существовал ли вообще когда-нибудь его зять, и в конце концов предал его забвению. А мне даже не пришлось забывать: покинув земную юдоль на английский манер, Жан-Батист не удостоил меня знакомством. Я и по сей день удивляюсь, как мало знаю о нем. Меж тем он любил, хотел жить, понимал, что умирает, — иначе говоря, был человеком. Но к этой человеческой личности никто из членов моей семьи не пробудил во мне интереса. Долгие годы над моей кроватью висел портрет маленького офицера с простодушным взглядом, круглым лысым черепом и большими усами; когда мать вышла замуж второй раз, портрет исчез. Позднее мне достались книги покойного: трактат Ле Дантека о перспективах науки, сочинение Вебера «Через абсолютный идеализм к позитивизму». Как и все его современники, Жан-Батист читал всякий вздор. На полях я обнаружил неразборчивые каракули — мертвый след недолго горевшего пламени, живого и трепетного в пору моего появления на свет. Я продал книги: что мне за дело до этого покойника? Я знал о нем понаслышке, не больше чем о Железной Маске или шевалье д'Эоне, и то, что было известно, не имело ко мне никакого отношения; даже если он и любил меня, брал на руки, смотрел на сына своими светлыми, ныне истлевшими глазами, никто не сохранил в памя-

ти этих бесплодных усилий любви. От моего отца не осталось ни тени, ни взгляда — мы оба, он и я, какое-то время обременяли одну и ту же землю, вот и все. Меня воспитали в сознании, что я не столько сын умершего, сколько дитя чуда. Этим наверняка и объясняется мое беспримерное легкомыслие. Я не вождь и не хотел бы быть вождем. Повелевать и подчиняться — это, в сущности, одно и то же. Самый полновластный человек всегда повелевает именем другого — канонизированного захребетника, своего отца, и служит проводником абстрактной воли, ему навязанной. Я отродясь не отдавал приказаний, разве чтобы посмешить себя и окружающих. Язва властолюбия меня не разъедает, немудрено — меня не научили послушанию.

Слушаться — но кого? Мне показывают юную великаншу и говорят, что это моя мать. Сам я склонен считать ее скорее старшей сестрой. Мне совершенно ясно, что эта девственница, проживающая под надзором, в полном подчинении у всей семьи, призвана служить моей особе. Я люблю Анн-Мари, но как мне ее уважать, когда никто ее в грош не ставит? У нас три комнаты: кабинет деда, спальня бабушки и «детская». «Дети» — это мы с матерью: оба несовершеннолетние, оба иждивенцы. Но все привилегии принадлежат мне. В мою комнату поставили девичью кровать. Девушка спит одна, пробуждение ее целомудренно: я еще не открыл глаза, а она уже мчится в ванную комнату принять душ; возвращается она совершенно одетая — как ей было меня родить? Она поверяет мне свои горести, я сострадательно выслушиваю;

со временем я на ней женюсь и возьму под свою опеку. Мое слово нерушимо: я не дам ее в обиду, пушу в ход ради нее все свое юное влияние. Но неужто я стану ее слушаться? По доброте душевной я снисхожу к ее мольбам. Впрочем, она никогда ничего от меня не требует. Словами, оброненными как бы невзначай, набрасывает она картину моих будущих деяний, осыпая меня похвалами за то, что я соблаговолю их совершить: «Ненаглядный мой будет умницей, пай-мальчиком, он даст своей маме пустить себе капли в нос», — и я попадаюсь на удочку этих разнеживающих пророчеств.

Был еще патриарх: он так походил на Бога-Отца, что его нередко принимали за Всевышнего. Как-то раз он вошел в церковь через ризницу — в эту минуту кюре грозил нерадивым карами небесными. И вдруг прихожане заметили у кафедры высокого бородатого старца — он смотрел на них; верующие пустились наутек. Иногда дед утверждал, что они пали перед ним ниц. Он вошел во вкус таких пришествий. В сентябре 1914 он явил себя народу в кинотеатре Аркашона. У нас с матерью были места на балконе — вдруг раздался голос деда: он требовал, чтобы дали свет. Вокруг него какие-то господа, подобно сонму ангелов, возглашали: «Победа! Победа!» Бог поднялся на сцену и прочел коммюнике о победе на Марне. Когда дед был еще чернобородым, он разыгрывал из себя Иегову, и я подозреваю, что он виновен в смерти Эмиля — косвенно, конечно. Этот гневный библейский бог алкал крови своих сыновей. Но я появился на свет к концу его долгой жизни. Борода его стала